Людмила Евгеньевна Улицкая

## Подкидыш

Теперешняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают: сыновья Ревекки, как говорит Книга Бытия, еще в материнской утробе стали биться.

Никто и никогда не узнает, в какой именно момент — пренатальной или постнатальной — жизни Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаянэ.

Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но проницательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и по благородной склонности натуры всегда прикрывала своим распушенным крылом ту, у которой и ножки и румянец были потоньше. Что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки.

Отец млел от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душные объятия рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаянэ, и готов был мычать теленочком, блеять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя.

Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от притеснений Гаянэ, и в присутствии отца задирать сестру перестала.

Справедливости ради надо отметить, что самым грозным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаянэ уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся для экономии жилого места по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней одноколейки и часами в вокзальном ожидании высиживала себе прощение.

Мать не вмешивалась в отношения девочек и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества — сидела в узенькой комнате в высоком кресле, с большой, отливающей серебром корзиной из кос, которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «доброе утро, мамочка» и «спокойной ночи, мамочка», а она слабо улыбалась им вырезной губой.

Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка, но когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши.

Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой: она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаянэ посильно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие на первый взгляд незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом по случаю простуды девочек был приглашен старый доктор Юлий Соломонович, из породы врачей, вымерших приблизительно в те же времена, что и стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусство, иногда и для них самих неведомо, замешена капля древнего колдовства.

Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как ни странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда он был очень старым доктором. Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как тридцать лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайничка и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом Эмма Ашотовна внесла тазик, кув-шин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как буд-то перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз.

Широким и роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправа его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно не существующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем.

— Так как же зовут наших барышень?— вежливо спросил он, склонившись над ними.

Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась.

— Гаянэ,— ответила робкая Гаянэ, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку.

— Гаянэ, Гаянэ, прекрасно,— восхитился доктор.— А вас, милая барышня?— обратился он к Виктории.

Виктория подумала, о чем — сам Фрейд не догадается, и ответила ко-варно:

— Гаянэ.

Истинная Гаянэ оскорбленно и тихо заплакала:

— Я, я Гаянэ…

Доктор в задумчивости почесывал глянцевый подбородок. Он-то знал, как сложно устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления.

Виктория глядела победоносно: не мишку плюшевого, не зайчика тряпичного — ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу.

— Так, так, так,— протикал доктор медленно.— Гаянэ… прекрасно…— Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице: — А где же Виктория? Виктории нет?

Виктория засопела заложенным носом: ей хотелось быть одновременно и Викторией и Гаянэ, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно.

— Я Виктория,— вздохнула она наконец, и Гаянэ тут же утешилась.

И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прощупаны по всем лимфатическим железам улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком.

Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, отнеся ее за счет неземного обаяния внучек. Она ошибалась: он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке.

Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость: она до умопомрачения любила завязывать знакомства. Хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы, она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в наследство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и вырастившей Феню под крылом добрых хозяев. А может, тень Иогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в голубиных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомства нянек и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла Эмме Ашотовне о своих успехах: «Сегодня с новыми детями гуляли, с адмираловыми!» Или: «Двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеровы»,— сваливала она невзначай в одну кучу происхождение, фамилию и склонности характера.

Но при этом — чего Феня не знала — каждое новое знакомство с деть-ми сопровождалось неизменной маленькой сценкой: Виктория называла себя именем сестры, а Гаянэ, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называли одним именем.

Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских, у нее были и другие крупные задачи: не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу, смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера.

В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевранных сказок и самодельных историй. Гаянэ же была наблюдательной молчальницей, памятливой на чужие бантики, брошки, незначительные события и оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до десяти было устроение «секретиков», уложенных под осколком стекла листьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги. Даже летом на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гаянэ предпочитала именно это единоличное и сидячее развлечение, в то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях и играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми с соседних дач.

Здесь же, на кратовской даче, в последнее предшкольное лето Гаянэ подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином и где местные старухи продавали тугие пучки белоносой редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, а потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошадью, классически хромой цыган в огромном пиджаке, забитом орденскими колодками чуть не до пояса.

Никаких ковровых кибиток и шелковых рубах не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин непонятного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке — на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку.

— Они детей крадут,— шепнула Вика сестре, и пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение: — В нашем поселке уже двоих украли!

Цыганки меж тем занимались своим обычным промыслом: останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль. Бизнес их шел ни шатко ни валко, и к полудню они предприняли вылазку — пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у Карасиков, выходящем прямо на перекресток, и через редкий забор отлично было видно, как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гаянэ подходить боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь.

В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадью, пасущейся вдоль улицы на пыльной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала:

— Ой, что вижу, что вижу… Ой, смотри, беда идет… Дай руку, посмотрю…

Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула:

— Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая!..

Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гаянэ крепко схватились за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле.

Пообедали девочки на террасе, а потом бабушка разрешила им из-за жары спать в беседке, а не в доме. Феня раскинула им раскладушки и ушла, и тогда Вика сообщила сестре тайную вещь: оказывается, старуха цыганка — настоящая колдунья и может превращаться в кого захочет и детей превращать в кого захочет. И лошадка их стреноженная на самом деле была не лошадкой, а двумя украденными мальчиками Витей и Шуриком, которых давно уже разыскивают родители, да никогда не найдут…

Они разговаривали шепотом.

— Если она захочет, может в бабушку превратиться…

— В нашу бабушку?— ужаснулась Гаянэ.

— Ага. А захочет, так в папу…— пугала Вика.— Вон посмотри, ходят…

И она махнула рукой в сторону дачной ограды… Интересный план созревал в ее умной головке…

Июнь был в самом начале. Толстые маслянистые кисти сирени лезли в беседку и пахли так сильно, как горячее кушанье на тарелке. Шмель тянул басовито и замедленно, и цикады отзывались скрипичными голосами из нагретой травы. Жизнь была такая молодая и такая страшная.

— Ты не бойся, Гайка,— пожалела Виктория испуганную сестру,— я тебя спрячу.

— Куда?— спросила Гаянэ безнадежным голосом.

— В дровяной сарай. Они тебя там ни за что не найдут,— успокоила ее Вика.

— А ты как же?

— А я ее палкой ударю!— грозно сказала Вика, и Гаянэ в этом не усомнилась. Ударит.

Босиком, в одних ситцевых трусиках с большими карманами на животе, они прокрались к дровяному сараю. Вика отодвинула щеколду и пропустила сестру внутрь.

— Сиди здесь и не выглядывай. А когда они уйдут, я тебя выпущу.

Щеколда щелкнула снаружи. Гаянэ успокоилась: теперь она была в безопасности.

Вика проскользнула обратно в беседку, укрылась с головой простыней. Она представила себе, как страшно сейчас глупой Гайке, и ей тоже стало немного страшно. Но и смешно. Так с улыбкой она и уснула.

Эмма Ашотовна разбудила ее в шестом часу и спросила, где Гаянэ. Виктория не сразу вспомнила, а вспомнив, забеспокоилась. Еще больше забеспокоилась бабушка — заметалась по их большому участку, первым делом побежала к уборной, куда ходить девочкам запрещалось, потом к малиннику, потом вниз под горку в совсем запущенную часть участка, огороженную ветхим штакетником. Девочки нигде не было.

— Гаянэ! Гаянэ!— кричала Эмма Ашотовна, но никто не отзывался.

Этот длинный крик, звук имени, со вмятиной посредине и широким хвостом в конце, безответно впитывался свежей листвой, не набравшей еще настоящей силы. Это были первые жаркие дни, когда начинала возгоняться смола и над землей собирался после весенних хлопот поспешного прорастания всяческих трав и листочков первый летний покой, и крики Эммы Ашотовны как-то неприлично нарушали все благочиние дня, склонявшегося к вечеру.

Вика подползла к дровяному сараю и отодвинула щеколду.

— Выходи!— громко зашептала она внутрь.— Выходи, бабушка зовет!

Гаянэ сидела между старой бочкой и поленницей, вжавшись в стену одеревенелой спиной. Глаза ее были открыты, но Виктории она не видела. И не видевшая ее лица Виктория это поняла. Ей стало не по себе. Гаянэ же, пережив страх столь огромный, что он не мог вместиться в ее семилетнее тело, находилась теперь за его неведомым пределом.

Засунутая сестрой в душную полутьму сарая, Гаянэ сначала вроде бы задремала, но выйдя из дремы от какого-то скрытного движения около виска, она вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомом месте: огненно-желтые световые штрихи прорезали пространство со всех сторон, как если бы она была заключена в светящуюся клетку, слегка раскачивающуюся в серо-коричневой тьме. Бедной Гаянэ показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом вместе с сараем, поленницей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдена жестоко, вместе со временем, растянувшимся как ослабшая резинка и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу. «Даже хуже, чем украли,— подумала Гаянэ,— меня забыли в каком-то страшном месте». Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее, и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает. «Гаянэ! Гаянэ!» — звал ее издалека громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий…

— Гайка, выходи!— слышала она настойчивый шепот сестры.— Ушли цыгане, ушли. Тебя бабушка ищет!

Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратовской даче, и бабушка в синем горохами платье уже шла к сараю, чтобы найти наконец пропавшую внучку, а Гаянэ, медленно приходя в себя, удивлялась малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в дровяном сарае, в начале лета, на седьмом году жизни…

Она кинулась к сестре с криком: «Вика! Вика! Не уходи!» — и обхватила ее руками. Вика гладила ее по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала:

— Ты что, ты что, Гаечка! Не бойся!

И ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую и пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами…

С этого самого дня, так остро запомнившегося Гаянэ и совершенно забытого Викторией, в Гаянэ проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами не называемое, открывшееся ей когда-то во тьме дровяного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась в задвинутом скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту область головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась.

Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам: она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели; засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной действительностью. А когда Гаянэ взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно:

— Ты что, дурочка, чего боишься-то?

Виктории доставляла удовольствие власть над страхами сестры; взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси бывают подмешаны к человеческой любви.

Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери и понимающая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Она была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться, но Эмма Ашотовна выстроила строгую и глубоко восточную иерархию: если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед, а уж никак не ссоры и перемирия в детском стане.

Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырех длинногривых голов — ее собственной, дочерней и внучкиных,— плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чугунным перегретым утюгом белье, скорый небрежный завтрак, мелкую уборку и приступала к приготовлению обеда со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом.

Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышкам кориандра и горошинам перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев.

Обычно в половине седьмого приходил с работы Серго. Стол был уже накрыт и полыхал запахами. Серго мыл руки и выводил жену к столу. Она шла мелкими шагами заводной куклы и слабо улыбалась. Комната эта была сумеречная, безоконная, освещена желтящим электрическим светом, и лицо ее приобретало оттенок старого фарфора. Ее усаживали в кресло рядом с мужем. Девочки сидели по обе стороны от родителей, но по длинной стороне стола, в другом торце восседала Эмма Ашотовна. Феня, открыв коленом дверь, вносила розовую супницу, размер которой значительно превосходил потребности семьи. Поставив супницу возле левого локтя хозяйки, Феня исчезала — она обедала на кухне и ни за что не согласилась бы сидеть за этим парадным господским столом, где тарелки сменяли чуть ли не три раза, а еды накладывали по маленькой ложечке.

На донышко Маргаритиной тарелки наливали немного супу, она брала в тонкую руку тонкую ложку и медленно опускала ее в тарелку. Трапеза эта была чисто символическая — ела она только по ночам, в одиночестве: два куска черного хлеба с сыром и яблоко. Всякую другую еду — с первого года ее болезни, когда мать все пыталась накормить ее чем-нибудь более питательным,— брала в рот и не проглатывала.

В этот вечер, как обычно, Эмма Ашотовна отнесла на кухню посуду и, надев грязные очки и чистый фартук, приступила к мытью. Это была ее поблажка Фене, которая блюла свою честь перед соседками и не уставала им напоминать: «Я не кухарка, я детей подымаю».

Серго отвел Маргариту в комнату и сел возле старого приемника покрутить его ребристые ручки.

Оставаясь наедине с женой, Серго разговаривал. Нельзя сказать, чтобы с ней. Но и не совсем сам с собой. Это был странный разговор двух безумий: Маргарита бессловесно обращалась к своему любимому мужу с давно заржавелым укором, почти не замечая грузного седого человека, в которого превратился Серго за годы ее болезни, а он, пересказывая и комментируя вечерние радиопередачи, безнадежно пытался с помощью этого зыбкого звукового моста пробиться к Маргарите теперешней, но все еще сосредоточенной на давнем несчастном событии. Они упирались друг в друга глазами, не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог: слепого с глухонемым.

— Где Гаянэ?— неожиданно внятно спросила Маргарита.

— Гаянэ?— Серго как будто на полном ходу врезался в фонарный столб.— Гаянэ?— переспросил он, ошеломленный тем, что впервые за многие годы жена задала ему вопрос.— Они учат уроки,— тихо ответил он Маргарите, беря ее за руку. Рука была как стеклянная, только что не звенела.

— Где Гаянэ?— настойчиво переспросила Маргарита.

Серго встал и заглянул за перегородку. Вика сидела к нему спиной и скрипела ручкой. Почерк у нее был с большим нажимом, чреватый кляксами, и, когда она писала, локоть ее так и ходил.

— А где Гаянэ?— спросил отец.

Виктория дернула плечом, чернильная слеза вытекла из-под пера.

— Откуда я знаю? Я ее не сторожу,— не оборачиваясь ответила Виктория.

Виктория не цитировала. Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой и, блуждая, не находила контекста.

Серго, взбудораженный обращением к нему жены, машинально искал по квартире Гаянэ. Он вышел в общий коридор, зашел в его слепой отросток, дернул дверь уборной, но там как раз никого не было. Прошел на кухню, где Эмма Ашотовна терла сверкающие спинки тарелок, и в недоумении сказал теще:

— Маргарита спросила, где Гаянэ.

Эмма Ашотовна остановилась, как будто у нее завод закончился.

— Маргарита тебя спросила?

— Где Гаянэ…— закончил он.

Она бережно поставила тарелку и, всколыхнувшись грудью и боками, почти побежала к дочери. Отодвинув до упора дверку в ее комнату, с порога она спросила:

— Маргарита, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, мама,— тихо, не шевеля даже ресницами, ответила Маргарита.— А где Гаянэ?— снова спросила она, и до Эммы Ашотовны дошел наконец смысл вопроса.

Гаянэ не было. Более того, на вешалке не было ее новой кошачьей шубки, а под вешалкой не было маленьких ботинок с фальшивой барашковой оторочкой. Опустевшие бессодержательные галоши стояли одиноко, каждая в своей подсыхающей лужице.

— А где Гаянэ, Вика?— спросила бабушка.

— Откуда я знаю… Мы сидели-сидели, а потом она ушла,— ответила Вика.

— Давно? Куда? Почему же ты не спросила?— взорвалась целым веером вопросов бабушка.

— Да не знаю я. Не видела. Минут десять или сорок. Откуда я знаю…— все еще не отрываясь от тетради, ответила Вика. С фальшивым увлечением она рисовала на обложке тетради большую чернильную картину.

Эмма Ашотовна кинулась к Фене, но на двери ее комнаты, выходящей в коридор, висел железный калач замка: была суббота, Феня еще не вернулась от всенощной.

Времени было двадцать минут девятого, за окном стояла влажная густая темень, как бывает зимой в оттепель.

Не одеваясь Серго выскочил на улицу, пробежался по круглому каменному двору и остановился в подворотне: он не знал, куда теперь идти.

Эмма Ашотовна звонила по телефону родителям одноклассниц. Гаянэ нигде не было…

Завязка этого вечернего исчезновения произошла месяцем раньше. Девочки добаливали совместную ангину и сидели дома. Вика, учуяв через две двери запах свежих котлет, притянулась на кухню. Котлеты были большие, честные, начиненные чесноком и травами и исполнены с таким искусством, как будто им предстояла долгая и счастливая жизнь. До обеда было еще далеко, но Вика получила одну — коричневую, в блестящей корочке, едва сдерживающей напор сока и жира. Вика откусила и замахала языком, шумно запуская в рот воздух для охлаждения котлеты. Обычно Эмма Ашотовна не допускала таких предобеденных вольностей, но девочка выздоравливала после болезни и впервые за неделю попросила поесть. С увлечением жуя, она прислушивалась к разговору соседок. Мария Тимофеевна, качая тощей головкой, обсуждала с Феней ужасное происшествие: нынче утром во дворе на помойке нашли мертвого новорожденного ребенка.

— Я тебе говорю, Феня, это либо из восьмого, либо из двенадцатого, в нашем-то никто и не ходил…— выдвигала патриотическую версию Мария Тимофеевна.

— Поди знай,— ворчала Феня, которая вообще о человечестве была дурного мнения.— Утянутся, ушнуруются, и не увидишь.

И она очень натурально сплюнула на пол. Невзирая на девство, о практических последствиях плотского греха она была информирована очень хорошо и испытывала к нему сугубое отвращение.

Разговор шел в опасном направлении, и Эмма Ашотовна, с покрасневшим от сковородного жара лицом и строгими бровями, велела Виктории отправляться в комнату. Наполненная теплой котлетой и ужасной новостью, шла Виктория по коридору и размышляла о бедном новорожденном. Сначала он представился ей в белом кружевном конверте вроде того мемориального, в котором когда-то спала их мать, а теперь кукла Слава. И этот найденный на помойке мертвый ребеночек представлялся уже кудрявой куклой Славой с каштановыми скользкими волосиками. Но это было как-то неудовлетворительно: не было жалко ни Славу, ни того ребеночка. Хотелось другого, жгучего. Тогда Вика представила его совсем маленьким, розовым, похожим на не обросшего еще шерсткой котенка от коммунальной кошки Маруси, но только с ручками и ножками вместо лапок и со Славиными розово-желтыми волосиками. Но и эта картина не совсем удовлетворяла жадное Викино воображение.

Жирными от котлеты пальцами она коснулась бронзовой ручки своей двери и замерла: о, если бы Гаянэ была тем воображаемым ребеночком на помойке! У Виктории дух захватило: конечно, кто-то близкий и тайно злой выкрадывает маленькую Гаянэ, убивает и выбрасывает… Вика открыла дверь, и все рассыпалось от столкновения со скучной действительностью: Гаянэ, с обвязанной розовым платком шеей, сидела за столом и, прикусив кончик длинной косы, читала растрепанного от многолетнего пользования «Робинзона Крузо».

Виктория прошла в детскую и встала у окна. Дворовую помойку, большой деревянный ящик, видно отсюда не было, ее загораживал двухэтажный флигель. В его облупленный желтый бок Вика и уставилась. Инженерные способности ее отца передались ей каким-то замысловатым способом: ей тоже было важно, чтобы колесико цеплялось за колесико, шатун давил на кривошип и машина в конечном счете двигалась. Тот мертвый ребенок ее совершенно не устраивал. Ей нужен был живой, выброшенный на помойку, и чтобы это была Гаянэ.

Брови у Виктории были почти сросшиеся, дугообразные, а к вискам они как будто снова собирались загнуться вверх. В задумчивости она, как и отец, непроизвольно двигала бровями вверх-вниз.

«Может, так? Бабушка рано утром выходит с ведром и находит на помойке девочку. Думает, она мертвая, а она живая. Она ее домой приносит и маме говорит — покорми ее, ей только три дня. А у мамы я, тоже три дня…» И опять вылезал дефект конструкции: кто же тот злодей, который выбрасывает ребенка на помойку?..

Милиция уже опросила всех желающих высказаться по поводу криминальной находки, собрала несколько фантастических версий, в которых увлекательно перемешивались корысть, колдовство и страсть к доносительству, и двор, всегда живущий по закону несгибаемой, как вечность, сиюминутности, отодвинул происшествие в свою историю, обреченную на забвение, равно как и истории великих допотопных цивилизаций. Следователь положил на полку еще одно дело о нераскрытом убийстве, которое и убийством не вполне считали…

И только Вика все мучилась своим недоношенным сюжетом. Когтистая интрига не отпускала ее, и она все искала гипотетическую мать выброшенного на помойку ребенка, превратившегося по авторской воле и ее злой фантазии в сестру Гаянэ.

На третий день творческих мучений Вика, проходя в своем же подъезде мимо двери, ведущей в полуподвальную дворницкую квартиру, нашла искомый персонаж. Бекериха, занимавшая здесь угловую комнату, видом была ужасна. Роста высокого даже для мужчины, по-мужски стриженная, истрепанная белесым лицом и одеждой, она слыла пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели. Но пьяницей она действительно была на свой манер. Пила она каждый день, всегда в одиночку, затворившись в своей убогой комнатушке. Выпивала она ровно одну бутылку красного вина, начиная быстрым стаканом и растягивая оставшиеся полбутылки часа на два. Потом ложилась спать на тюфяк, прикрытый больничной простыней, взятой напрокат.

Солнце вставало, когда ему было угодно, в зависимости от времени года. Бекериха же просыпалась всегда в половине шестого. Едва разлепив глаза, она выпивала оставленное с вечера — на два пальца от донышка — вино… Другой бы давно спился, но ее держало постоянство и приверженность к режиму. Очнувшись после обморочно-крепкого сна, она шла в больницу махать тряпкой. Другие уборщицы и санитарки не любили ее за безучастную молчаливость, волчий взгляд и рьяную работу. Никто, кроме главврача Маркелова, взявшего ее на службу, не знал, каким толковым фельдшером и надежным помощником была Таня Бекер в довоенное, допосадочное время.

Отмахав свои полторы ставки, двенадцать часов, она успевала по дороге домой прикупить ежевечернюю бутылку и к восьми уже забивалась в свою конуру. Она снимала боты, тужурку, садилась на тюфяк и ставила на табуретку, успешно заменявшую обеденный стол, заветную бутылку. Снаружи было теп-ло, и через несколько минут — она знала — тепло будет и внутри, и она медлила, потому что берегла и длила эту счастливую минуту, подаренную ей невзначай.

Дворовые люди невзлюбили ее за гордость, которую проницательно в ней разглядели. Дети боялись ее и разбегались при появлении ее длинной фигуры в глубокой каменной подворотне. Они прозвали ее Трупорезка, потому что кто-то пустил про нее слух, что она работает в морге. Но это было не так, она всего лишь убирала в двух самых тяжелых отделениях больницы: в гнойной хирургии и неврологии.

Виктория начала артподготовку: она собирала вокруг себя кучку взъерошенных девочек и, тряся сдвоенным сине-красным помпоном на вязаной шапочке, рассказывала, как трупы сначала плавают в больших стеклянных банках, а потом их сортируют — отдельно ноги, отдельно руки, отдельно головы,— и этим как раз делом и занята Бекериха.

Рассказы Виктории были страшны и притягательны, младшая из девчачьей компании, Лена Зенкова, затыкала уши рукавицами, но оттащить ее было невозможно; даже то, что просачивалось через мокрые варежки, не теряло своей таинственной прелести. К тому же Виктория выбирала интересные места для подобных собеседований: в темном треугольно-скошенном пространстве под лестницей, в закутке между дровяными сараями, на шестом, последнем, этаже, на узкой недоразвитой лесенке, ведущей на чердак. Тьма, полутьма, невнятные постукивания сопровождали этот спектакль, и каждый раз Виктории, оказавшейся в рабстве собственной фантазии, приходилось придумывать что-то новое, еще далее, еще более… Она вполне справлялась со своей ролью рассказчицы страшных рассказов, которые шли по боковым тропкам, делали петли и витки, но не изменяли лишь ужасной Бекерихе, которая всегда оста-валась главной героиней.

Собеседования эти пользовались большим успехом, но чуткая Гаянэ с самого начала сериала все старалась улизнуть, отказавшись от прогулки под благовидным предлогом насморка или головной боли. Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда Гаянэ вынужденно оказывалась рядом с рассказчицей.

Истории про отрезанные конечности, черные простыни и оживших мертвецов, строго говоря, не были уникальными. Они были в моде их юного возраста, а также времени и места. Виктория, несомненно, была талантливой рассказчицей, а Гаянэ — самой впечатлительной из слушательниц. К тому же Гаянэ смутно ощущала некую тревожащую целенаправленность этих рассказов о ночных взаимоотношениях оклеветанной Бекерихи и еще более оклеветанных умерших пациентов старой городской больницы.

Эти три ступени вниз, в полуподвальную квартиру, казались Гаянэ входом в преисподнюю, и она, почти не касаясь пола, взлетала единым духом на второй этаж…

В тот памятный вечер они сели за уроки позже обыкновенного, потому что был понедельник, а по понедельникам они занимались музыкой, и потому день был какой-то двугорбый. Они сидели за старым Маргаритиным столиком друг против друга. Вика подложила под себя ногу, что было строго запрещено бабушкой, и высыпала на стол мятые тетради и обкусанные карандаши. Гаянэ сунула руку в портфель и вынула из него волокнисто-коричневый конверт.

— Ой!— сказала Гаянэ, поскольку конверт неизвестно как попал к ней в портфель.

— Что это у тебя?— вскинула любопытные брови Виктория, пока Гаянэ в недоумении разглядывала конверт, на котором расплывающимися красными буквами было написано квадратно и крупно: «Гаянэ. В собственные руки».

— Конверт какой-то. Письмо,— пробормотала Гаянэ. Она держала конверт двумя руками, и буквы, расплывающиеся волокнистыми сосудиками чернил, казались живыми и кровеносными.

— А в нем что?— почти равнодушно спросила Виктория.

Гаянэ положила письмо на край стола, словно раздумывая, стоит ли вскрывать. Чутким своим нутром она понимала, что ничего хорошего в нем быть не может. Оно лежало на углу стола, сильно пахло клеем и делало вид, что совершенно случайно сюда попало. Гаянэ запустила руку в портфель и вынула свои аккуратные тетради, розовое «письмо» в две линейки с редкой косой и желтую «арифметику» в успокоительную клетку. В нее и уставилась Гаянэ.

— Тебе письмо, да?— не выдержала Виктория, которая пыталась делать вид незаинтересованной.

Гаянэ перевернула конверт вверх спинкой, грубо заклеенной еще не высохшим клеем. Она провела пальцем по сырому шву и ответила сестре:

— Я потом прочту.

Вика накрутила на палец кончик косы и уставилась в тетрадь — все шло неправильно. Письмо лежало на столе непрочитанным, бабушка могла войти в любую минуту, а Гаянэ как ни в чем не бывало скользила «восемьдесят шестым» пером по блестящему тетрадному листу. И действительно, вид Гаянэ имела безмятежный, но при этом она была полна дурного предчувствия и полностью была сосредоточена на письме. «Уйди отсюда, уйди. Пусть тебя совсем не будет»,— заклинала она грядущую минуту. Однако мысль, что письмо можно выбросить не читая, даже не приходила ей в голову.

Уставшая от ожидания Виктория положила руку на конверт.

— Тогда я сама прочту!

Гаянэ встрепенулась:

— Нет. Мое письмо.

И вскрыла конверт.

«Гаянэ! Вот настало время тебе все узнать. Меня все зовут Бекериха, а я твоя мать. Я тебя родила и подкинула, потому что не могла тебя взять с собой. Это секрет. Я потом расскажу. Скоро я приду, всем расскажу и тебя заберу, дочка. Будем вместе жить. Твоя мама Бекериха».

Сначала Гаянэ долго разбирала, что именно написано мелкими, набок заваленными буквами. Слово «дочка» было выписано крупно, толсто. Она долго соображала, что же оно означает. Виктория терпеливо пережидала необходимую паузу и наконец спросила:

— От кого письмо, Гайка?

Гаянэ молча протянула ей тетрадный листок. Виктория наслаждалась текстом: он был хорош. Особенно нравилось начало: «Вот настало время тебе все узнать…»

О, это уже было, уже было… Это время, растянувшееся как ослабшая резинка, потерявшее начало и конец, и странное движение по тошнотворному обратному кругу. Ощущение ужасной кражи, чувство тьмы… И это всплывшее воспоминание чувства было верным доказательством того, что это письмо, ужасное даже на вид, сообщает не менее ужасную, но истинную правду: страшная Бекериха — ее мать.

— Не бойся,— великодушно пообещала Виктория,— никто тебя твоей матери не отдаст.

— Ты, что ли, знала?— ужаснулась еще раз Гаянэ. Чужое знание усугубляло весь этот ужас.

Виктория дернула плечом, перекинула косичку и успокоила сестру:

— Да ты не волнуйся так. Конечно, знала. И все знают.

— И Феня?— с глупой надеждой спросила Гаянэ.

— Конечно, и Феня. Все, тебе говорю, знают.

Следующий виток злодеяния был чистым экспромтом. Виктория не была особенно уж плохой девочкой. Дурная мысль овладела ею и, как у талантливых людей бывает, талантливо развивалась.

— А с чего наша мама заболела, как ты думаешь? Тебя бабушка с помойки принесла и говорит ей: вот, корми! Приятно, думаешь?

— И заболела?— переспросила сестру Гаянэ.

— А ты думаешь? Она говорит «не хочу», а бабушка ей велит… Вот и заболела…

— А ты?— пыталась наладить треснувший миропорядок Гаянэ.

— Что я? Я-то родная дочь, а ты — подкидыш…

— А с какой помойки?— как будто эта подробность была так уж важна, спросила Гаянэ.

— С какой? Да с нашей, где ящик зеленый во дворе,— изящно присоединила Виктория географию к биографии и в этот именно миг почувствовала полнейшее удовлетворение художника. Вкус теплой котлеты, ужасной новости и запах мастики, которой натирали коридор,— вот что еще она почувствовала в этот момент.

— А-а-а…— как-то вяло отозвалась Гаянэ, и Вика, почувствовав эту вялость, вдруг усомнилась в успехе своей ловкой шутки: веселой она не получилась, вот что… И она сунула нос в учебник, отыскивая нужный номер задачки и одновременно соображая, как бы оживить ситуацию.

Когда она подняла голову от учебника, сестры в комнате не было. Аккуратно вскрытый конверт и письмо лежали на краю стола. «Ревет за вешалкой»,— предположила Виктория. Она собиралась дать сестре немного пореветь, а потом признаться, что это шутка.

И тут в комнату вошел отец и спросил:

— А где Гаянэ?

…А Гаянэ отошла от дома так далеко, как никогда еще одна не отходила. До самой Пресни. Она стояла у входа в зоопарк, на тощем портале которого выродившиеся боги вымерших народов охраняли плененное звериное племя. Какое-то тоскующее животное, а может, ночная птица, издавало длинные хриплые вопли. Начинался снегопад, и все посветлело. Вокруг фонарей засияли шары золотого рассеянного света, а там, куда не доставало электричество, лунно и серебряно сверкал медлительный крупный снег. Все было новым и неиспытанным в эту минуту: и одиночество, и отдаленность от дома, и эти унылые вопли, и даже запах снега, смешанный с духом конюшни и обезьянника.

Ей казалось, что с тех пор, как она ушла из дому, прошла вечность, и даже не одна. Это была вечность ужаса перед Бекерихой и вечность вины перед матерью. Она поверила сестре сразу и неколебимо. Все объяснилось: тонкие тревоги ее жизни, беспокойство, темные предчувствия и неопределенные страхи получили полное оправдание. Конечно же, она чужая в семье, а ужасная Бекериха — ее родная мать, и только Вика имеет полное право на бабушку, папу, Феню, на мамин утренний бледный поцелуй, а ее, Гаянэ, заберет в подвал ужасная желтозубая Бекериха.

Мысль о сходстве с сестрой, прекрасно известном ей с раннего детства, нисколько не мешала общей картине развернувшейся катастрофы. Соображение это было слишком мелочным, чтобы рассматриваться в столь исключительных обстоятельствах.

Если настоящая мать ее Бекериха, если она, Гаянэ, виновата в болезни бедной ненастоящей матери Маргариты, то лучше всего ей будет умереть. Мысль о смерти принесла неожиданное облегчение. Она вовсе не стала размышлять о технических деталях самоубийства, это тоже было бы слишком мелочным. Ей казалось, что достаточно найти укромное место, сжаться там в комочек — и одного ее горячего желания больше не жить достанет, чтобы никогда не проснуться.

Она шла вдоль зоопарка по безлюдной заснеженной улице и заметила издали темную фигуру, протискивающуюся сквозь слегка раздвинутые прутья ограды. Ночной сторож Юков выносил обычной ночной дорогой свою законную порцию второсортной говядины, предназначенной тощим хищникам. Юков шмыгнул мимо девочки и скрылся в проходном дворе. Здесь неподалеку жила его подруга. Мясо, таким образом, оказывалось дважды краденным: у тигра и у юковской семьи.

Гаянэ постояла, пока человек не исчез из виду, легко проскользнула между прутьями. Здесь, в зоопарке, было чудесно и совсем не страшно. Тоскливые вопли ночного зверя прекратились, хотя время от времени раздавались какие-то таинственные громкие вздохи, урчания и стоны. В светлой пустоте прошла она мимо заснеженного пруда и вышла к вольерам, звери из которых были давно переведены в теплые помещения.

В проходе между двух довольно высоких проволочных стен стоял большой деревянный ящик, очень похожий на тот зеленый мусорный, что был у них во дворе. Занесенные снегом брикеты спрессованного сена были свалены кучей у его боковой стенки. Гаянэ разгребла варежкой снег, вытащила один брикет и разворошила его. Печально запахло летом, дачей и всей ушедшей жизнью. Она села на брикет, как на низкую скамеечку у бабушкиных ног, разворошенным сеном покрыла колени, зажмурилась и крепко уснула, совершенно уверенная, что никогда больше не проснется в этот мир злой и неисправимой справедливости…

Письмо вместе с надписанным красными чернилами конвертом Викто-рия засунула в штаны. В уборной она порвала его на мелкие кусочки и спу-стила в коммунальную Лету. Недоверие к помойному ведру висело в воздухе эпохи.

В перерывах между звонками в морг и в милицию Эмма Ашотовна допросила Викторию. Вика смотрела честными глазами: врать ей не пришлось. Она действительно не знала, куда подевалась сестра.

Эмма Ашотовна не была Шерлоком Холмсом, она не заметила ни подозрительного красного пятнышка на безымянном пальце внучки, ни брошенной на полуслове тетрадки Гаянэ, свидетельствующей о внезапности ее исчезновения. Впрочем, индуктивные методы доктора Ватсона были тогда не в моде, а другие, более модные, были совершенно неприемлемы для Эммы Ашотовны.

В результате стечения этих двух обстоятельств Виктория была отправлена в постель, а домашнее следствие — на доследование в районное отделение милиции, куда был для этого послан Серго с чугунным гипертоническим затылком и буро-красным от прилившей крови лицом.

Несчастная Виктория легла в постель сестры, оплакивая ужасную судьбу исчезнувшей Гайки и одновременно обдумывая хитрый план мести Бекерихе, которая была во всем виновата…

…Во втором часу ночи довольный и сытый Юков, удовлетворивший физические и в некотором роде духовные потребности за счет голодающего тигра, снова просунул между прутьями свое умиротворенное тело. Он намерен был обойти участок, а потом заглянуть в дирекцию, где дежурил сегодня его приятель Васин. Меж двух пустых вольер, возле большого деревянного ларя он нашел спящую девочку. Куполком торчал на ее голове занесенный снегом помпон, нетающий снег лежал на ее ресницах. Но была она не мерзлая, теплая и дышала. Он удивился, что не заметил ее прежде, пошлепал по щекам, но она не проснулась. Тогда он смахнул с нее снег, взял на руки и отнес в дирекцию.

Васин удивился, увидев его с такой неожиданной ношей. Ее посадили на стул — она продолжала спать.

— Вишь, спящая царевна! И как ее сюда занесло,— ворчал Юков.

— Со дня осталась, что ли,— высказал предположение Васин.

— Нет, кажись, не было ее тут, когда я заступал. В милицию, что ли, позвонить… Или подождать, как сама проснется…— рассуждал Юков.

— Да они только приезжали. Стоят, поди, у ворот,— заметил Васин.

И правда, милицейская машина еще не отъехала. Васин привел дежурного лейтенанта. Дежурный тоже безуспешно пытался разбудить девочку. Ставил ее на ноги, но ноги были согнуты в коленях и не разгибались.

— Что-то не то,— решил дежурный и отвез спящего ребенка в приемное отделение Филатовской больницы.

Пока в приемном отделении оформили получение странной больной, по-ка дежурный лейтенант, совершив объезд по своему околотку, добрался до своего отделения и сделал донесение о спящей находке, пошел уже шестой час утра…

В доме на Мерзляковском спать не ложились. На кушетке, обвязав голову розовым платком, лежал Серго, в кресле окаменела бледная Эмма Ашотовна. Из комнаты время от времени раздавалось жалобное восклицание Маргариты:

— А где Гаянэ?

Ей не отвечали.

Одна только Виктория спала — в сестриной кроватке, обняв промокшую чуть ли не насквозь сестрину подушку и подтянув к животу колени, в той самой позе, в которой спала Гаянэ в изоляторе приемного отделения, куда ее поместили для выяснения личности и диагноза.

…Когда зазвонил телефон и Эмме Ашотовне сообщили, чтобы она ехала в Филатовскую больницу, где, судя по всему, находится ее пропавшая внучка, Серго бурно, в голос зарыдал, и Эмме Ашотовне пришлось дать ему хорошую дозу валерьянки, прежде чем он впялился в толстое ватное пальто. Впервые в жизни Серго взял под руку тещу и, увязая в ночном снегу, не сбитом еще ранними дворниками в кучи, повел ее, в гордой шубе, в меховой шляпке с шелковым пропеллером на затылке, через Никитскую на Спиридоновку, перевел через Садовую, и вскоре они вошли в приемный покой Филатовской больницы.

Через стеклянную дверь Эмме Ашотовне показали спящую девочку, в бокс, однако, не впустили, сказав, что хоть она цела и невредима, но что-то с ней не в порядке и утром ее посмотрят невропатологи и прочие специальные специалисты, поскольку она спит не просыпаясь, и даже в теплой ванне, куда ее поместили, она не изменила той позы, в которой ее нашли: ко-лени согнуты и ручки скрещены на груди. Впрочем, спит она спокойно и температуры нет.

Здесь Серго окончательно стало дурно, он побледнел и повалился на случайно подвернувшийся стул. Понюхав нашатыря, он пришел в себя, и тут уж Эмма Ашотовна взяла своего зятя под руку и повела через Садовую, по Спиридоновке, через Никитскую к дому, в Мерзляковский переулок. Дворники уже расчистили тротуары, было светло; служащие спешили к своим дребезжащим трамваям…

Оба молчали. Они почти не разговаривали с тех самых пор, как он пришел с фронта. Да, собственно говоря, в этой семье разговаривали только девочки либо с девочками. Взрослые же люди — Маргарита, Серго, Эмма Ашотовна — произносили постоянно лишь внутренние монологи. Это была печальная музыка семейного безумия, женского неразрешимого укора и мужского столь же неразрешимого упрямства.

Но сегодняшнее их общее молчание не было начинено раздором, они оба не понимали, что же произошло с их ребенком, и это общее непонимание, пережитая чудовищная ночь сблизили их.

«Ах, дурак, дурак,— сочувственно и мимолетно подумала она о Серго, которого вела под руку.— Да и сама я дура, как просмотрела…» — трезво оценила ситуацию Эмма Ашотовна. И она позволила себе небывалое — обратилась к нему с вопросом:

— Сережа, что же это такое с ней случилось, а?

— Бог знает, мама. Совсем ничего не понимаю: все есть у девочки,— сказал он с более сильным, чем обычно, акцентом. Они давно уже выгляде-ли ровесниками, пятидесятилетний Серго и шестидесятилетняя Эмма Ашо-товна…

Когда они подошли к дому, увидели у подъезда жиденькую толпу и санитарную машину. Она словно материализовалась из всех ночных страхов сегодняшней ночи, но душевные силы были истрачены дотла, и потому Эмма Ашотовна даже не поинтересовалась, к кому приехала «скорая».

А машина приехала за Бекерихой. Рано утром ее соседка, дворничиха Ковалева, не слыша из комнаты привычных звуков утренних сборов и не видя соседки возле кухонного крана, толкнула ее дверь, окликнула и, не слыша отзыва, двинула плечом. Крючок отлетел, и Ковалева обнаружила Бекериху уткнувшейся в тощую подушку лицом и с опущенными на пол ногами. Она как будто сидела, а потом упала лицом в казенную печать больничной наволочки. Так неожиданно настигла Бекериху острая сердечная недостаточность, и на два пальца красное вино так и осталось недопитым.

Феня сказала «по грехам». Но таких грехов не бывает. И никто не исчислит, зачем Танина злая судьба послала ее на каторгу за немецкую фамилию прадеда, петровского набора судостроителя, потом со скучной методичностью забрала мужа, мать, сестру и трехлетнюю дочку, а напоследок еще сделала ее ужасным пугалом десятилетней девочки, которую она и в глаза не видела…

Виктория, не поднятая бабушкой в школу, безмятежно спала. Зато Маргарита встала. Причесанная и одетая, она стояла на стуле, установленном на середине обеденного стола, и вытирала влажной тряпкой хрустальные сосульки люстры.

— Ну, что с Гаянэ?— спросила она сверху. Стеклянные палочки еще продолжали звенеть.

— Все в порядке. Она спит,— осторожно ответила Эмма Ашотовна.

— Я чуть с ума не сошла,— тихо сказала Маргарита.— Мамочка, сделай на обед плов.

Тут потрясенная Эмма Ашотовна плавно опустилась на тахту. Потом Маргарита подняла глаза на вошедшего в комнату мужа и обратилась к нему впервые за много лет:

— Серго, помоги мне слезть. Я посмотрела, люстра такая пыльная…

Виктория, проснувшись к этому времени, все отлично слышала из своей комнаты. Она зевнула, вытянула ноги и потянулась. «Какая все же Гайка дурочка… Подарю ей мою американскую собачку»,— великодушно решила она. Вылезла из постели, отыскала ленд-лизовскую собачку и посадила сестре на подушку. Плюшевого свидетеля неспокойной совести…

В это же самое время проснулась и Гаянэ. Она выпрямила затекшие ноги. Никакой каталепсии, предполагаемой врачами, у нее не было. Она посмотрела по сторонам. Сон с белыми, замазанными краской окнами ей не понравился, и она снова закрыла глаза.

Когда она проснулась в следующий раз, бабушка сидела возле нее на стуле, сверкая алмазными серьгами, и счастливо улыбалась красно накрашенными губами, а оттого, что на желтоватых передних зубах был виден следок губной помады, Гаянэ поняла, что это не сон. К тому же из-за бабушкиной спины, треща наброшенным на плечи халатом, выглядывал Юлий Соломонович. Ему, известному врачу, под расписку выдавали пациентку, и он потирал свои розовые пересушенные руки, чтобы уличным холодом, пробившим его старые перчатки, не обжечь теплого детского тела…